

Валентин БЕРЕСТОВ:

«Мне иногда не верилось в свое счастье: захочу и приду к Ахматовой!»

Самое подходящее время для писания воспоминаний — молодость. Это прекрасно понимал юный Пушкин. Но после 14 декабря ему пришлось уничтожить свои мемуары. Зато автобиографическая трилогия, написанная молодым Львом Толстым, потрясла читающую и пишущую Россию и сделала автора великим писателем.

Видимо, думая об этом, Корней Иванович Чуковский в 1943 году, когда мне исполнилось пятнадцать, "заказал" мне автобиографическую поэму. Но в 1945 году, в 17 лет, я решил написать воспоминания прозой и набросал план воспоминаний об Ахматовой. Заметка начиналась утверждением: "В ней столько поэзии, что все окружающие пишут о ней". Это и впрямь было так. Речи ее казались столь выношенными, обдуманными, чеканными, как будто у всех ее высказываний были черновики.

Часть пунктов плана я раскрыл в нынешних воспоминаниях, благо сохранились страницы из дневников военных лет. Но есть и такие, которые полностью ушли из памяти. Сейчас я ничего не могу написать, чтобы прояснить, что говорил Ахматовой об Андрее Белом, о "башне" Вячеслава Иванова, о случайности акмеизма, о Городецком и о Цехе поэтов, о Блоке и об "антиблоковском", о чтице Вишневской. И лишь догадываюсь, что скрывалось за восклицанием: "Сын!". Как бы я хотел спросить у себя семнадцатилетнего: "Что ты имел в виду, когда намечал тему "Ахматова и Горький"?"

Но, увы, со мной и впрямь произошло то, что случилось со студентом из старого анекдота. Профессор: — "Что такое электричество?" Студент (растерянно): — "Извините, знал, но забыл!" Профессор: — "Как? Вы знали то, чего еще никто не знает! И посмели это забыть!!!" Но скорее всего забытое мною знали и рассказали другие. А я с помощью немногих старых записей и памяти, про которую Пушкин сказал: "Тань ветхая, истершаясь убого", попробую восстановить остальные пункты.

Переименованный Сталинабад

"Лестница, Звезда, Ганнибалы"... По наружной лестнице 28 марта 1943 года я, ведомый Надеждой Яковлевной Мандельштам, поднялся на длинный крытый балкон двухэтажного дома в нача-



А.А.Ахматова. 1940 г.



1964 г.



Прощание с Анной Ахматовой.

ле улицы Карла Маркса. С балкона застекленная дверь, служившая также и окном, вела в крохотную комнатку Ахматовой, которую она называла копилкой. Название это с двумя смыслами. Маленькая комнатка на месте сберкассы, приспособленной под общежитие для эвакуированных.

Мы вошли, и в "копилке" сразу стало тесно. Муж и жена Ганнибалы, потомки тех, пушкинских, освободили нам место и ушли. Голая электрическая лампочка на белом шнуре. Ахматова сидела на казенной узенькой койке, откинувшись к белой стене. Пожилая женщина с лицом, обращенным ко мне. Повернется вправо, влево, и я люблюсь тенью ее горбоносого лица, ее как бы отпечатанным на стене таким молодым профилем. Словно она взяла эту юную тень из своей молодости!

Прочел стихи. Ахматова, как я записал в дневник, сдержанно их похвалила. И я услышал эпиграф ее "Поэмы без героя":

**А веселое слово — дома —
Никому теперь не знакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке,
И изгнанный воздух горький,
Как отравленное вино.**

В Ташкенте — мы, в Нью-Йорке — изгнанники из Германии, Австрии, Франции, других занятых фашистами стран Европы... Я понимал, что слышу голос мировой поэзии. Как до этого слышал голос русской классической поэзии и даже отголосок Киевской Руси, прочитав в "Правде" ее "Мужество".

Как-то уже в Москве, в конце войны, Маршак сказал мне: "Вам это ничего не напоминает: **"Мы знаем, что ныне лежит на весах"**? А? "Как ныне собирается вещей Олег!"

Я попросил разрешения переписать эпиграф "Поэмы без героя". И каково же было мое удивление, когда под эпиграфом я прочел название города, где он был написан, — "Дюшамбе". Ахматова вернула Сталинабад его прежнее имя! Вернула по собственной воле.

... В 1944 году я привез в Москву список поэмы, сделанный Надеждой Яковлевной. Оказалось, что некоторые московские писатели уже ее читали. Список поэмы не мог не попасть "куда следует". Мог он попасться и на глаза Сталину. Вряд ли он не обратил внимания на переименованный Ахматовой Сталинабад (А если это название другой местности, то он, как и я, ее не знал).

"Поэт никого не выгоняет"

Еще записи в дневнике 1943 года. 31 апреля. "Поэтесса Некрасова. Муж сошел с ума, сын умер, сама полусумасшедшая. Открыла грудь перед Ахматовой: "У меня нет насекомых".

Это рассказала мне Надежда Яковлевна. Сумасшедшего мужа она домослила для полноты образа. Мне было понятно, почему Ксения Некрасова, приехав в Ташкент из своего горного кишлака, куда ее, москвичку, загнала военная судьба, поселилась прямо у Ахматовой, в ее узенькой комнатке. У Ксении не было семьи. Своею семьей она считала хороших поэтов: чем лучше поэт, тем он для нее роднее. Вот и пришла к Ахматовой как к родственнице.

Опекавшие Ахматову дамы (они получили прозвище "женмироносиц") советовали Анне Андреевне прогнать Ксению. Один из таких разговоров был при мне. И я помню царственный ответ: "Поэт никого не выгоняет. Если надо, он уходит сам". И я понял: для того, чтобы быть и оставаться поэтом, нужно жить по каким-то высоким правилам. Одно из таких тайных правил, тайных запретов, мне и довелось услышать. Я помнил его всю жизнь, и, может быть, оно спасло меня от каких-то ложных шагов, после которых, сколько ни бейся, хороших стихов не напишешь.

Урок английского

Надежда Яковлевна Мандельштам в конце апреля 1943 года перенесла занятия английским языком из школы имени Шумилова на Жуковскую, 54, где они с Ахматовой теперь поселились. Их новое жилье было неподалеку от школы. Весь апрель три ташкентских школьника-стихотворца, стипендиаты ЦДХБД (Центральный дом художественного воспитания детей) Эдик Бабаев, Зоя Туманова и я проявляли необыкновенные успехи в английском. Мы знали-наизусть в оригинале детские стихи Стивенсона и стихи Эдгара По. Мы с Эдиком не без успеха даже попытались их переводить.

И вот вдова врага народа в комиссарской кожанке повела нас к матери каторжника сына расстрелянного контрреволюционера, похвалиться нашими (и своими) успехами. Ахматова спросила: "А вы читали английский грамматику?" И мы с Эдиком (Н.Я. слишком нас перебаловала!) нахально ответили: "Анна Андреевна, грамматика — учебник, а не книга. Учебник проходят, а не читают". В ответ Ахматова всплеснула руками: "Боже, какие они еще школяры! Учебник — такая же книжка, как "Три мушкетера", ну разве чуть-чуть скучнее. Я просто не понимаю, как можно читать книгу, даже если это учебник, от сих до сих и совершенно не интересоваться, что будет дальше".

Она дала нам "Граматику английского языка", которой пользовалась сама, и сказала: "Приходите, когда прочтете!"

Когда мы пришли в следующий раз, Анна Андреевна произнесла: "Так. Карамзин сказал: "Английский понимает тот... (Опять вся русская литература! "Карамзин сказал..." Как будто Карамзин сказал ей вчера!). Английский знает тот, кто понимает, для чего нужны связи should и would. Три минуты на подготовку к ответу. Можете пользоваться книжкой".

Мы тут же залезли в грамматику, нашли нужный параграф и ответили ей. И даже рассказали, как утопающий иностранец перепутал should и would и у него вышло: "Я хочу утонуть, я хочу утонуть, и никто не должен меня спасти!" Ахматова посмеялась вместе с нами и кивнула: "Ну вот. Теперь вы свободно ориентируетесь в английской грамматике. Учебник превратился в справочник".

Вдохновение как лихорадка

Когда приходило вдохновение, Ахматова внезапно исчезала от нас в свою комнату, сказав на прощанье в мужском роде: "Я ушел!" А иногда она вообще к нам не выходила. Окно было завешано. Дверь плотно прикрыта. И вдруг дверь на мгновение открывается, из темноты возникает и машет, как крыло, обнаженная белая рука: "Я — больной!" Но если бы Ахматова не занавесила окно, не легла, не отключилась от мира, она бы и впрямь заболела. Вдохновение, как она признавалась в стихах, трепало ее, будило лихорадка. "А потом весь год ни гугу..."

"... Растут стихи, не ведая стыда"

Нельзя представить Ахматову в очках. Она берегла свой облик. В Ташкенте у нее уже не было знаменитой челки. Думаю, расставшись с ней, Ахматова как бы отделилась от себя прежней, повела какой-то новый отсчет времени. И все же я помню Ахматову в очках. Бредет по двору, как лунатик, но только дневной, если такие бывают. Бредет, не видя препятствий, но и не наткываясь на них. Петляет между дымящимися дворовыми очагами-мангалами, не замечая ничего вокруг, даже того, что забыла

очки на носу. Значит, сочинив, отдернула штору, оделась, бросилась к столу и, нацепив скрываемые от мира очки, принялась записывать, править.

Но письменного стола и бумаги ей мало, она, не думая о своем виде, вышла из дому. Кружит по двору, шевелит губами, неслышно проговаривает варианты за вариантом. Когда мы первый раз увидели ее в окно (через комнату мимо нас она прошла незаметно, как тень), она была в сереньком с белой оторочкой по вороту выходном платье, в туфлях на высоких каблучках, очки скрывают горбинку на "бурбонском" носу.

"Кубики" можно не читать

Но вот она возвращается к обычной жизни. Беседа при ней сразу становится веселой и выше. Темы обычно приносим мы с Эдиком. Бегаем по ташкентским библиотекам, по квартирам знакомых, где много книг, переписываем все до одного стиха, какие пришлось по душе. Половина поэтов XX века, если не больше, уже стали запретными, нежелательными, но в некоторых библиотеках их книги забыли или не пожелали "списать".

С находками бежали к Ахматовой. Как же она радовалась, с какой нежностью глядела на нас, когда мы открыли для себя Иннокентия Анненского!

Как резко выделялись одни поэты рядом с другими. И как у тех же авторов одни стихи были на несколько порядков лучше или хуже остальных. "Искусство — это отбор, — поясняла Ахматова. — В поэзии дается или сразу все или ничего", — добавляла она. Это значило между прочим, что поэт должен отбирать из написанного и даже задуманного лишь то, где "дается сразу все". Запись от 16 июня 1943 года: "Оценка Ахматовой моих стихов: "Вы знаете, что я вам хочу сказать".

Какого же ежа за пазуху она мне положила этими простыми словами! Она как бы внедрила мне в голову строгого, язвительного критика. С тех пор мои новые стихи она выслушивала молча. Говорила лишь, если ей нравились какие-нибудь строчки. Однажды она произнесла: "Гумилев считал: если в стихотворении есть одна хорошая строка, оно имеет право на жизнь".

Восхищаясь Гумилевым, мы с Эдиком Бабаевым незаметно усвоили его любимую форму — четверостишия. То же — у нашего тайного от Ахматовой кумира Константина Симонова. Анна Андреевна принялась отучать нас от стихов, написанных одними четверостишиями. Однажды она устроила нам даже небольшой спектакль. Прислали ей номер вышедшего в блокаде журнала "Ленинград". "Вадим Шефнер! — обрадовалась Ахматова, читая содержание номера. — Он талантлив и он воюет!" — и с жадностью раскрыла нужную страницу. Но вдруг отбросила журнал в сторону: "Опять эти четверостишия! Опять кубики a b a b!" Уверен, без нас она вернулась к стихам Шефнера. А нам урок: напишем стихи из одних "кубиков", она их даже читать не станет! Через много лет рассказал об этом Шефнеру. "А сама в молодости только "кубиками" и писала!" — воскликнул он. Видимо, сочла их потом детскими игрушками.

Ахматовский отбор

Много говорят о соперничестве между большими поэтами. Например, между Ахматовой и Мариной Цветаевой. Не знаю... Цветаева перед войной подарила Ахматовой рукопись "Поэмы горы" и "Поэмы воздуха". Несколько раз Ахматова вынимала из шкатулки, бережно развевала драгоценные листки и читала нам эти поэмы.

**Будут девками ваши дочери
И поэтами сыновья,** — слышится мне веский голос Ахматовой. Она обращалась к своей музе, к "милой гостье с дудочкой в руке":

**— Ты ль Данту диктовала
Страницы "Ада"? — Отвечает: "Я!"**

"Просто продиктованные строчки", — говорила она про свои стихи. Их будто диктовала сама Муза. В чтении Ахматовой слышалась такая диктовка, внятная и властная. Точно так же читала она Цветаеву и других признаваемых ею поэтов.

Но сколько же она не признавала! Доставалось и Бунину, и Сельвинскому (у меня записано: "Думали, он — гитарист-виртуоз, а он ничего не умеет"), и Павлу Антокольскому ("тщедушный Пастернак!"), и Брюсову ("Знал секреты, но не знал тайны"), и Симонову... Перечисляю лишь тех поэтов, какими я тогда увлекался. Я даже сердился на Ахматову. В марте 1944 года я в своем дневнике поворачал на нее: "Я думаю, что через некоторое время у нас появится какое-то пренебрежительно-покровительственное отношение к русской поэзии, как и у Анны Ахматовой". Лишь потом, встретившись с другими большими поэтами, я увидел, что они тоже ведут свой отбор в поэзии и не соглашались, например, кое с кем из тех, кого чтит Ахматова. А один и Ахматову не признает!

Единственным исключением были стихи многих поэтов, посвященные самой Анне Андреевне, кто бы их ни написал. Она держала все эти стихи в особой папке и никогда с ними не расставалась. Читала нам Асеева: "Я — не враг тебе, я — не враг!" и многое другое. Это был драгоценный отклик на ее стихи, на всю ее жизнь, ее отражение во множестве зеркал. При мне в эту папку были бережно уложены стихи Эдуарда Бабаева, написанные вчера, да еще размером "Поэмы без героя":

**Знаменитая ленинградка!
Я глядел на тебя урядкой
И не верилось мне, что это —
Профиль женщины той, воспетой.**

Мне тоже иногда не верилось в свое счастье: захочу и приду к Ахматовой!

Новый Фауст

Возвращаясь из эвакуации домой, из Ташкента в Ленинград, Ахматова несколько дней провела в Москве. Из дневника: "21 мая 1944 г. Ахматова приехала и уезжает. Очень бодрая. Говорит о Пастернаке: "Ничего, мы с ним как-нибудь управимся".

Слова "С Пастернаком мы как-нибудь управимся" относятся к газетным стихам Бориса Леонидовича: он искал какую-то "новую простоту", "новый реализм" и повсюду говорил, что находит их в ритмах Симонова и Суркова. Ахматова утверждала (цитирую свой дневник), что его газетные стихи — "плохой перевод с пастернаковского на русский, причем перевод как-то разоблачает и подлинник". Она имела в виду его тогдашнюю стилизацию под народную речь.

Пастернаку досталось от Ахматовой за стихи "Зима приближается" про военную зиму 1943—44 годов — видимо, она отпустила какую-то шутку по поводу злосчастных "жизнелюбов" в русской деревне военных лет, где из мужчин остались лишь калеки и старцы. "Пастернак метался, как раненый зверь", — рассказывала Ахматова. Но простил ее. Видимо, она заговорила с ним про то, как бредит молодежь его теперешними стихами из книги "На ранних поездках". Так было с Эдуардом Бабаевым и со мной.

Мы с Ахматовой прочитали друг другу стихи. Мне показало, что она через меня хочет передать новому поколению по-



Анна Ахматова. Ташкент, 1943 г. Рис. А.Тышлера.

этов один из своих великих замыслов, который она хотела подарить Пастернаку. Я же считал это тайной двух больших поэтов и никому не рассказывал про встречу с Ахматовой. Как я мог рассказать, что сама великая Ахматова позвала меня к себе, читает свои, слушает мои стихи, открывает тайны великих поэтов? Сочтут хвастуном!

Шло время. Я думал, ее разговор с Пастернаком станет одной из ахматовских "пластинок" и всплывет в чьих-нибудь воспоминаниях. Нет, не всплыл. Я до сих пор думаю, что замысел, какой Ахматова предлагала Пастернаку, и сейчас заслуживает всяческого внимания не только поэтов и ахматоведов с пастернаковедами, но и философов, футурологов, других ученых.

Так, в мае 1944 года, за год до окончания войны, Ахматова предложила Пастернаку ответить от "нового реализма" и написать "Фауста" XX века, нового "Фауста". Пастернак с интересом выслушал ее доводы и сказал:

— Хорошо, Анна Андреевна. Непременно переведу!
— Вы меня не так поняли, — возразила Ахматова. — Не переводить, а написать нового!

— Я вас прекрасно понял, — настаивал Пастернак. — Непременно переведу!

Кто знает, не будь того разговора, не было бы и пастернаковского перевода "Фауста". Исследователи находят в нем такие слова, как "барак", "зона"...

Пока мы говорили, я вспомнил, что Пушкин не переведил "Фауста", а набрасывал собственные сцены и сценки из него, каких ему почему-то не хватало у Гете. Не Пушкин ли вдохновил Ахматову на этот замысел? Может быть, она, увлеченная пушкинисткой, рассказала бы мне о том, как мыслит Пушкин своего "Фауста" в целом, но я не догадался спросить ее об этом. Скорее всего на пушкинского "Фауста" она и опиралась. Но в ее прозе и стихах тех лет можно найти и следы ахматовского "Фауста": в "Поэме без героя", в лирике.

Ахматова знала, что в 1919 году Пастернак сделал наброски своего "Фауста", написав стихи "Мефистофель" и "Маргарита". По мнению Ахматовой, "Гете уступил своему герою большую часть своей души и биографии". То же, видимо, ожидалось от Пастернака, прими он ахматовский замысел. Между тем "большую часть своей души и биографии" поэт намечался отдать своему доктору Живаго.

Полагаю, раз уж Фауст, пригрезившийся Ахматовой, был "до отращения похож" на ее знакомца, то таким "вновь помолодевшим Фаустом" мог оказаться и Пастернак. Ахматова сказала про него:

**Он наделен каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.**

Чем не автор нового "Фауста"!

В 1945-м, в год встречи с Пастернаком, Ахматова написала загадочный отрывок "И очертанья Фауста вдали".

Город "очертаний Фауста" похож на Марбург, где юный Пастернак учился философии перед первой мировой войной со всеми ее бедами, злодействами и смертоубийствами.

И вдруг через много лет, году в шестидесятом, возникает последний ахматовский набросок нового "Фауста", так и не написанного Пастернаком! Это страшное видение каких-то грядущих Чернобылей, поворотов рек, усыхания Арала и еще неведомых нам экологических катастроф: ведь теперь "бес скорости" может мигмом осуществить на деле самые фантастические замыслы:

**Даль рухнула, и пошатнулось время,
Бес скорости стал пятак на темя
Великих гор и повернул поток,
Отравленным в земле лежало семя,
Отравленным бежал по стеблям сок.
Людское мощно вымирало племя,
Но знали все, что очень близок срок.**

Объяснить появление этого отрывка можно еще и тем, что в мае 1960 года умер Пастернак. И Ахматовой вспомнилось, как

**Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышею волей храним.**

Вспомнилось ей и то, как она хотела подарить "собеседнику рош" и "провидцу" (так она назвала его в траурных стихах) свой великий замысел. И тогда последние семь стихов нового "Фауста" легли на бумагу. Предпоследний стих страшен: "Людское мощно вымирало племя". Последний оставляет надежду: "Но знали все, что очень близок срок", и все изменится к лучшему: "Что войны, что чума — конец им виден скорый..."